

Я нашел ее около гаража, замызганную, заплаканную, сохранявшую, похоже, какими-то невероятными усилиями что-то человеческое. Не знаю, что заставило меня тогда взглянуть в ее лицо и что удержало взгляд. Может, это странное упорство, когда дошел до края, уже свесился наполовину в бездну, но все же держишься за тонкую нить, не разрываешь ее, не сбрасываешься вниз, и не из «приличия» или «привычки», что случается, как мне кажется, по большей части у людей, а из какой-то странной надежды. Где корень этой надежды? Этот вопрос всегда интересовал меня до крайности, и никогда я не мог найти ему сколь угодно адекватное разрешение.

С детства я понял, что люди одиноки, и что ничто действительное не может быть выражено словами. Сидя на уроках, дергая девочек за косички, даже трепеща от страха перед хулиганами или от стыда — перед матерью, я всегда чувствовал какую-то странную пустоту. Иногда я хотел что-то сказать о ней, но был слишком скрытен и косноязычен и вскоре оставил свои попытки. Я пытался, далее, составить о ней какое-то «мнение», описать ее, пусть и самому себе, или хотя бы подойти к ней. Надо ли говорить, что безуспешно. Даже в мыслях, представлявших собой скорее смутные течения бессознательного, которые не могут найти подходящей формы, я всегда только запутывался и приходил в безысходное состояние. Культура констатировала, но ничего не проясняла. У скучного и, как мне казалось, поверхностного профессора нашей кафедры философии я случайно нашел слова о том, что пустоту «нельзя забросать вещами». Я представлял дом своей бабушки, огромный, наполненный мебелью и утварью, ее спокойный, твердый, земной говор; сладкую, может быть, унижительную сцену, в которой поп, вещавший недавно божественные истины, утолял свои гаденькие, низменные инстинкты, стремясь хоть чем-то эту пустоту наполнить; чад трактира, в котором никто уже не верит в то, что говорит.

Я подошел к этому профессору, которого звали, кажется, В., с некоторым внутренним возбуждением, я долго говорил, может, не очень складно, но надрывно. Он огляделся, будто удостоверяясь в том, что нас никто не видит, и громко, раскатисто захохотал. Я, кажется, что-то понял и просто выбежал из аудитории.

Способность удивляться я потерял вскоре после этого случая. Чувства, время, окружение, все события представлялись мне просто смутным пятном чего-то странного. Я боялся смерти и отгонял от себя мысли о самоубийстве. Жизнь моя, тем более, не была настолько невыносимой, чтобы побудить к какому-то действию.

Я встретил Л. случайно, кажется, в магазине или на кафедре. У нее были синие глаза, тонкие руки и ломаная походка. Она была чрезвычайно скромна, образованна, из той породы интеллигентных женщин, которой сейчас почти не осталось. Мне было, к примеру, стыдно отпускать обычные для нашего общества пошлые и глупые шутки, мое состояние изменялось, я становился будто бы ближе к себе, хоть и знал уже тогда, что меня нет — такое влияние имел только сам ее вид. Остальных оно, кажется, не касалось, и это нас странным образом сблизило.

Мы гуляли часто и разговаривали о вещах слишком незначительных, чтобы их описывать. .org Она была из филологической семьи и подтвердила некоторые мои догадки относительно реального состояния умов интеллигенции. Я заметил почти вульгарный характер наших

бесед: проходя вечером мимо беснующейся пьяной молодежи, мы обсуждали вклад Бахтина в исследование творчества Д. По приподнимающимся иногда уголкам ее губ я понимал, что ее это забавляло.

Она жила тем, что переводила с немецкого. В ее комнату проникало мало света, и от этого все вещи как бы сливались и превращались в темные мазки, нанесенные на грубый ватман. На стене была надпись, показавшаяся мне странной и нехарактерной. «Ничего нет, загляни в пустоту».

Близость произошла по безмолвному согласию обоих, я начал ее целовать, трогать ее сухие, потрескавшиеся губы, я чувствовал странную истому, мертвую нежность. Мое сознание задела страшная мысль о том, что если я действительно хочу о ней заботиться, мне придется ее убить.

Ее тело было податливым, мягким, движения — плавными, не лишенными страсти, но при этом будто усталыми и бесконечно грустными. Иногда, впрочем, ее будто бы охватывал невроз, она судорожно обнимала меня и что-то возбужденно шептала.

Сорвав покрывало с Изида, человек сходит с ума, и я не думаю, что от истины — дело, скорее, в том, что таким образом ее достичь невозможно. Нельзя понять женщину, разрезав ее мертвое тело и детально изучив функционирование органов. Я мог бы прибавить к этому мнение, что целое не «есть» сумма частей. Иногда мы видим Бога в лепестке розы, в свете, падающем на ровный асфальт или во сне, но колесо жизни гонит нас вперед, а невозможность говорить заставляет забыть об увиденном.

В наших отношениях что-то менялось, и я не слишком сильно задумывался о том, в какую сторону. Однажды ночью я проснулся от того, что она, видимо, терзаемая кошмаром, с нечеловеческим лицом утробным голосом произносила нечто, похожее на молитву. Она становилась все холоднее — будто раскрывая свое истинное лицо. Я не говорю о «масках» или «шифрах» — все это лежит здесь, истинное же — там. Это не отдалило нас друг от друга, напротив — мы будто окончательно сблизились.

Нам нужно было все меньше скрывать друг от друга, да и как можно скрыть — ничто? Она все меньше работала; я ходил, полусонный, по длинным коридорам Университета, говорил не значащие ничего слова. Мы все больше времени проводили просто лежа рядом и смотря на тлеющую свечу. Она однажды сказала мне, что лампы не горят, а светят, и мы начали зажигать свечи.

Тоска придавала чувствам другие формы. Однажды она просто набросилась на меня, кажется, обросив все человеческое. В ее глазах я не видел голода, который являлся, на моей памяти, всегда атрибутом безумия — только странный огонь. Эти ее глаза, именно в моменте, запомнились мне, кажется, навсегда, и часто являлись во сне или в раздумьях. В одном из таких снов (или раздумий? я не помню различий) огонь становился все темнее и разрастался, поглотив и глаза, и все вокруг — мне тогда подумалось, что все остальное и существует только в качестве ширмы — я готов был смотреть на него вечно, и, кажется, смотрел — но вечность кончилась.

После того случая Л. надрывно плакала, а я обнимал ее и все с той же мертвой нежностью гладил по голове, не говоря ничего. Мы оба знали, что прощаемся с остатками тепла.

Все, что было потом — признание, самоубийство, лестница, которую я, кажется, перебирал ногами, истертые страницы книг, может — последний надрыв отчаянья, который я замечал в других — было не важно.

Я мог бы закончить рассказ, сказав, что все погрузилось в туман без различий, и я был бы, наверное, прав, но не вполне. Кто знает — может, безумец снова его потревожит? Все опять повторится с начала? Мы вряд ли можем отличать миг от мига, поэтому, вслед за философом, я назвал бы этот вопрос бессмысленным.